

довольно обширное авторское введение¹⁸. В этой книге опубликовано тридцать источников, соответственно, объём включённого в книгу материала отдельных авторов невелик. Так, выдержки из дневника Шапориной, открывающие документальную часть книги, размещены всего на трёх страницах. Это отрывки из её записей за сентябрь 1941 г. Понятно, что в отличие от рассматриваемой публикации 2012 г. эти сборники имеют скорее познавательное и образовательное значение. Тем не менее игнорировать их вряд ли правильно: они позволяют судить, в каком контексте представлены записи Шапориной, какими теоретическими подходами к анализу женских дневников руководствуются зарубежные публикаторы, какие оценки существуют в современной западной историографии по поводу блокады.

Если из «Интимности и террора» не ясно, как именно источник оказался в руках публикаторов, то в книге «Описывая блокаду Ленинграда» определено указано на Валентину Фёдоровну Петрову как на специалиста, подготовившего рукопись, как можно понять, всех дневников Шапориной к публикации¹⁹. Она сама поделилась с составителями книги информацией о Шапориной и передала им отобранные ею же отрывки. В этой книге помещено интервью Петровой (трудно сказать, полностью или частично), в котором Шапорина упоминается. Отвечая на вопрос интервьюера, Петрова заметила, что она ходила на службы в Никольский собор, а Шапорина, жившая на Шпалерной, посещала Преображенский. Возможно, автору вступительной статьи следовало подробнее сказать о судьбе самой рукописи и дать читателям информацию о роли Петровой, чьё имя приведено на титульной странице в траурной рамке, в подготовке её к публикации.

Олег Будницкий: Случайно уцелевшая

Дневники сталинского периода советской эпохи уже по меньшей мере полтора десятилетия привлекают к себе повышенное внимание исследователей. Как и другие эго-документы, они служат для историков материалом для изучения «советской субъективности». Учёных по большей части интересует становление «нового человека», причем преимущественное внимание уделяется тому, как советские люди учились «говорить по-большевистски», как даже «ущербные» в социальном плане занимались «самовоспитанием», пытались «встроиться» в современную эпоху, овладеть её языком²⁰. Именно под этим

¹⁸ Writing the Siege of Leningrad...

¹⁹ Ibid. P. 21.

²⁰ Kotkin S. *Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization*. Berkeley, 1995; *Halfin I., Hellbeck J.* Steven Kotkin's «Magnetic Mountain» and the Soviet Subject // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1996. Vol. 3. P. 331–342; *Halfin I.* From Darkness to Light. Class, Consciousness and Salvation in Revolutionary Russia. Pittsburgh, 2000; *idem.* Looking into the Oppositionists' Souls: Inquisition Communist Style // *Russian Review*. 2001. July. Vol. 60. № 3. P. 316–339; *idem.* Terror in My Soul. Communist Autobiographies on Trial. Harvard, 2003; *Hellbeck J.* Fashioning the Stalinist Soul: The Diary of Stepan Podlubnyi (1931–1939) // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1996. Vol. 3. P. 344–373; *idem.* Speaking Out: Languages of Affirmation and Dissent in Stalinist Russia // *Kritika*. 2000. Vol. 1. № 1; и др. Замечу, что работы Хеллбека и Игала Халфина вызвали довольно оживлённую полемику. Интервью Халфина и Хеллбека и критический, временами очень резкий, анализ их работ, так же как проблемы советской субъективности, предпринятый Александром Кустаревым, Дэвидом Хоффманом, Джереми Смитом, Светланой Бойм, Ильёй Герасимовым, Аллой Сальниковой, Дитрихом Байрау и Ясухиро Мацуи, см.: *Ab Imperio*. 2002. № 3. С. 209–417.

углом зрения Йохен Хеллбек рассматривает дневники 1930-х гг.²¹ Гораздо меньше внимания уделялось протестным настроениям²². Не вдаваясь в историографические подробности, отмечу одну особенность: исследователей привлекали прежде всего дневники молодых людей, причём рассматривались они преимущественно как источник по формированию «души» человека сталинского времени, а не, скажем, по истории повседневности 1930-е гг. Дневник Л.В. Шапориной – создание женщины, сформировавшейся как личность совсем в другую эпоху, говорить по-большевистски не научившейся и не стремившейся это сделать. Автор дневника пыталась сопротивляться, приспособливаться и выживать в условиях сталинского режима. «Сопротивление», впрочем, носило исключительно «внутренний» характер хотя бы потому, что Любовь Васильевна вовсе не была изгоем в советском обществе, более того – принадлежала к его культурной элите.

Шапориная (урождённая Яковлева) была женой композитора Юрия Шапориная; брак оказался крайне неудачным и, хотя распался далеко не сразу, большую часть супружества был скорее условным. Впрочем, «статус» Шапориной, её знакомства и «вхожесть» в дома знаменитых деятелей русской/советской культуры определялись прежде всего её личными качествами, а не положением её знаменитого мужа.

Дневник Шапориной не слишком систематичен: первые записи датируются 1898 г., однако в дореволюционный период и вплоть до начала 1930-х гг. они фрагментарны, не всегда регулярны и в советский. Собственно, по-настоящему дневник становится дневником в 1930-е гг., как раз в тот период, когда дневники вести боялись, а многие их уничтожали. В результате сложился текст, который его публикатор Валерий Сажин справедливо назвал «не имеющим аналогов среди опубликованных на сегодняшний день дневников советского периода» (I, с. 6). Я остановлюсь на отражении и осмыслении автором ключевого явления советской истории 1930-х (да и не только тридцатых) годов: Большого террора, так же как предшествующего и последующего «террора малого» (который малым можно счесть разве что в контексте советской истории).

Любовь Шапориная живёт в стране, где «обыватели» знают не только, что часть населения, «самая работающая и хозяйственная», «расстреливается и пускается по миру» (I, с. 86), но и как именно расстреливается: «У нас расстреливают в спину, в затылок, чуть ли не в упор²³. Можно ли придумать более подлую казнь, более подлый народ? Меня начинает искренне возмущать, когда во всех бедах обвиняют правительство, большевиков. Народ подлый, а не правительство, и, пожалуй, никакое другое правительство не сумело бы согнуть в такой бараний рог все звериные инстинкты. Я помню этот звериный оскал у мужика при делёжке покосов» (I, с. 102). Противоречие очевидное и не единственное в дневнике: автор винит власть в расправе с мужиками (запись о расстрелах

²¹ *Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Cambridge, Mass, 2006.* См. содержательную рецензию Юлии Херцберг на эту книгу: Отечественная история. 2008. № 1. С. 200–202.

²² *Davies S. Popular Opinion in Stalin's Russia: Terror, Propaganda and Dissent, 1934–1941. Cambridge, 1997* (рус. пер.: Дэвис С. Мнение народа в сталинской России: Террор, пропаганда и инакомыслие, 1934–1941. М., 2011); *The Resistance Debate in Russian and Soviet History / Ed. by M. David-Fox, P. Holquist, M. Poe. Bloomington, 2003.*

²³ Шапориная, разумеется, не присутствовала при расстрелах. Однако слухи в данном случае были вполне достоверными. См.: *Тепляков А.Г. Процедура: исполнение смертных приговоров в 1920–1930-х годах. М., 2007.*

самой работающей части населения относится к пику «сплошной коллективизации») и тут же славит правительство, сумевшее справиться со звериными инстинктами мужиков. И – добавим уже от себя – поставить звериные инстинкты части населения себе на службу.

«Жуткое ощущение шупальцев спрута, от которых не уйти. И мы маленькие, маленькие мыши», – записывает Шапорина 23 октября 1930 г. И через десять дней: «Уже с месяц, как я никого не вижу и нигде не бываю. И должна сказать, что никуда не тянет. Сейчас люди не верят своей собственной тени, – а вдруг она служит в ГПУ?» (I, 103). Это не 1937-й – 1930-й. Насилие принимает разные формы, применяется по разным поводам и к разным людям. В 1933 г. «язва египетская – “парилки”». Знакомого врача держат в «парилке» (в камере, в которую, по рассказам, нагнетают горячий воздух, а заключённых кормят селёдкой, не давая им воды), чтобы тот сдал золото. Врач где-то проболтался, что у него есть золотые портсигары и другие ценные вещи. В итоге после восьми дней заключения у него всё забрали и выпустили с распухшими ногами. Сидели и ещё несколько знакомых Шапориной. Тогда же происходят высылки в связи с паспортизацией: паспорта давали далеко не всем, и люди были вынуждены уезжать из Ленинграда в течение десяти дней, уезжать неизвестно куда: «Россия сейчас похожа на муравейник, разрытый проходящим хулиганом. Люди суеются, с смертельным ужасом на лицах, их вышвыривают, они бегут, куда глаза глядят или бросаются под поезд, в прорубь, вешаются, отравляются». Шапорина пытается как-то объяснить происходящее, и вдруг начинает «говорить по-большевистски»: «Что всё это: просто непроходимая глупость или контрреволюционное вредительство, иноземное озорство?». Когда-то, в дни революции, ей представлялось, что она чувствует ветер истории: «Тогда мы неслись в бездну. Теперь мне представляется, что мы уже на дне, и смрад кругом, все свалились друг на друга, кто жив, кто мёртв – не разберешь, все копошатся, надеясь куда-то вылезти, не догадываясь, что вылезти некуда, неба не видно. И вот ползают, отталкивают, сбрасывают слабых, кусают, царапаются, стонут. Ужас, вырывают корки хлеба. А над всем этим благополучная верхушка, подкуп писателей и всех, кто может делать рекламу» (I, с. 129–131).

Чрезвычайно интересно отношение автора дневников к «московским процессам» 1936–1938 гг. Если обычно жертвы террора, о которых встречаются записи в дневниках, «свои», если и не знакомые лично, то не принадлежащие, во всяком случае, к власти, то здесь дело совсем другое. Во-первых, подсудимые – большевики, ещё вчера принадлежавшие к властной элите, во-вторых, значительная часть из них – евреи. Не вдаваясь в подробное обсуждение этой темы и поиски корней интеллигентского антисемитизма в стране интернационалистов, отмечу здесь то, что лежит на поверхности: во-первых, признание евреев некоей единой, возможно, международной силой, действующей солидарно и в интересах своего народа, во-вторых, неприятие того, что евреи стали играть несвойственные, «не положенные» им роли. Шапорина, в целом вполне понимавшая постановочный характер процессов, так же как и то, что признания подсудимых объясняются какими-то специальными мерами воздействия на них («Фейхтвангер заинтересовался, почему такая откровенность, – наивник! А гипноз на что?»), в то же время верит в заговор, причём еврейский. Она вспоминает по случаю второго «московского процесса» («Пятакова–Радека») «бумажонку», которую показывал ей сосед по имени в 1917 г. (несомненно,

«Протоколы сионских мудрецов»)), и записывает: «Всё в ней было понятно, непонятно только было в этом плане, как можно социализировать землю, раздробить, а потом вновь восстановить частную собственность, для перехода её в новые, уже сионские руки. И вдруг оказывается, что у господина Троцкого уже всё предусмотрено, готово, аппарат налажен. Потрясающе» (I, с. 150).

Подозрения относительно «сионского заговора» не мешают ей, как это нередко бывает с «идейными» антисемитами, дружить с отдельными евреями. Близким другом Шапориной был заведующий ленинградским отделением «Известий» литератор Александр Осипович Старчаков. После его ареста, приговора к «10 годам без права переписки» и последовавшего затем ареста и отправки в лагерь его жены Шапорина берёт на воспитание двух несовершеннолетних дочерей Старчаковых. Поступок по тем временам просто отчаянный: и с политической и, возможно, ещё в большей степени с бытовой точки зрения.

Как вести себя в условиях террора? Как не попасть (используем избитое сравнение) в его жернова? Ответ как будто прост: минимизировать общение, разговоры со знакомыми и особенно незнакомыми, встречи с потенциальными жертвами. Так решает вести себя, к примеру, М.М. Пришвин, чей дневник уже обсуждался на страницах «Российской истории»²⁴. Шапорина поступает совершенно иначе, хотя отлично понимает, что происходит вокруг: «Просыпаюсь утром и машинально думаю: “Слава Богу, ночью не арестовали, днём не арестовывают, а что следующей ночью будет – неизвестно”. Всякий, как Lafontaine’овский ягнёнок, имеет все данные быть схваченным и высланным в неизвестном направлении» (I, с. 218).

«Всякий», как мы знаем теперь, не было преувеличением. Для Шапориной это были люди её круга, друзья, знакомые. 6 марта 1938 г. она записывает: «Вчера утром арестовали Вету Дмитриеву. Пришли в 7 утра, их заперли в комнату, производили обыск. Позвонили в НКВД: “Братъ здесь нечего”. Вета, прощаясь с Танечкой (4 года), сказала: “Когда вернусь, ты уже будешь большая”» (I, с. 220). 34-летняя Елизавета Долуханова (в замужестве – Дмитриева), знаменитая красавица, хозяйка «литературного салона» в 1920-е гг., приятельница Ю.Н. Тынянова, В.Б. Шкловского и прочих формалистов, подруга Лидии Гинзбург, не вернулась. В июне того же года она была расстреляна на Левашовской пустоши под Ленинградом (по другим сведениям – погибла под пытками во внутренней тюрьме). Через две недели Шапорина звонит своей приятельнице поэту Елене Тагер и слышит в ответ, что у неё высокая температура. Шапорину это не насторожило, она знала, что у Тагер ангина. Но когда к концу дня Шапорина отправилась навестить Тагер, то узнала от её дочери, что болезнь гораздо серьезнее – «маму взяли в НКВД». Вернулась она в Ленинград через 18 лет, после 10 лет лагерей, повторного ареста и новой ссылки.

Шанс быть арестованным, высланным или расстрелянным имел в самом деле «всякий». Им мог стать 77-летний Нечай – «царскосельский старый лакей, поляк, у которого в Польше души живой не осталось» или театральный бутафор, «глупенький Лёва»: «С таким же успехом можно арестовать стул или диван». Лёву выслали без следствия, когда жена принесла ему передачу, ей сказали: Чита. «Уж никаких статей теперь не говорят, чего стесняться в своём

²⁴ Пришвин М.М. Дневники, 1936–1937. СПб., 2010. С. 301. Запись от 30 августа 1936 г.

испоганенном отечестве... Морлоки хватают своих жертв, жертвы исчезают, очень многие бесследно» (I, с. 220–221). «У меня тошнота подступает к горлу, когда слышу спокойные рассказы: тот расстрелян, другой расстрелян, расстрелян – это слово висит в воздухе, резонирует в воздухе. Люди произносят эти слова совершенно спокойно, как сказали бы: “Пошёл в театр”. Я думаю, что реальное значение слова не доходит до нашего сознания, мы слышим только звук. Мы внутренне не видим этих умирающих под пулями людей» (I, с. 214). И пять месяцев спустя под впечатлением от очередного показательного процесса и происходивших каждую ночь арестов, в том числе её коллег и знакомых: «Но жить среди этого непереносимо. Словно ходишь около бойни и воздух насыщен запахом крови и падали» (I, с. 221).

Шапорина существовала в «зоне риска». Дворянка, из «бывших», долго жила за границей, брат – эмигрант, дружила или прятельствовала со множеством арестованных. Она имела гораздо больше шансов, чем «всякий», быть «схваченным и высланным». Однако она не пыталась затаиться, не прекращала общения с родственниками арестованных. Более того, как говорилось выше, после ареста Евгении Павловны, жены А.О. Старчакова, последовавшего через год после ареста её мужа, она взяла их детей – 7-летнюю Галину и 9-летнюю Марианну (Мару) из распределителя НКВД и взяла на содержание и воспитание до возвращения матери. На самом деле – на более длительный срок, ибо и после возвращения из лагеря Е.П. Старчакова не имела возможности забрать дочерей.

Более того – Шапорина ведёт «расстрельный» дневник и нисколько не стесняется в оценках советской власти, вождей партии большевиков и товарища Сталина лично. Ничего кроме ненависти и презрения он у неё не вызывает. Осенью 1941 г., когда стало понятно, что предвоенные заявления о мощи Красной армии и разгроме потенциального противника «малой кровью, могучим ударом» – не более чем пропагандистская болтовня, уже в ставшем блокадным Ленинграде, она пишет: «Что думают и как себя чувствуют наши неучи, обогнавшие Америку. На всех фотографиях Сталина невероятное самодовольство. Каково-то сейчас бедному дураку, поверившему, что он и взаправду великий, всемогущий, всемудрейший, божественный Август» (I, с. 274).

Вместе с тем Любовь Васильевна подмечает одну весьма важную вещь – молодые люди, выросшие в советское время, не знавшие никакой другой реальности, кроме советской, воспринимают эту реальность как норму: «Вася (сын Шапориной. – О.Б.) часто возмущается, что я не хожу в кино, в театр. По ним, по современной молодёжи, впечатления скользят, не доходя до сознания. С детства они привыкли к ужасу современной обстановки. Слова “арестован”, “расстрелян” не производят ни малейшего впечатления. А каково нам, выросшим в Человеческой, а не звериной обстановке; впрочем, зачем я клевету на бедных зверей» (I, с. 223). Возможно, одна из самых впечатляющих записей в дневнике относится к реплике Мары Старчаковой, которую советская власть фактически сделала сиротой: «Мара как-то сказала, читая “Буратино”: “Как это Папа Карло не знает, где счастливая страна? Я думала, что все знают, что это СССР!» (I, с. 220). Что это было: неспособность 10-летнего ребенка понять, кто виноват в том, что она лишилась родителей? Или «всё ещё дпящийся испуг»? Как бы то ни было, росло поколение, уверенное в том, что счастливая страна – это СССР, и благодарное товарищу Сталину за счастливое детство.

Записки людей, «выросших в человеческой обстановке», о нечеловеческом времени на удивление сохранились и дошли до тех, кто «будет впереди». То есть до нас. Дело профессиональных историков – использовать этот первоклассный источник по истории сталинизма. Дело общества – понять смысл посланий этих случайно уцелевших пассажиров затонувшего корабля²⁵.

Сергей Яров: Этическая история советской эпохи

Читатели обычно сдержанно оценивают дневники, авторы которых, следуя канве (часто не ими проложенной) и зная о пристрастиях публики, стараются сделать свой рассказ особо поучительным и интересным. Исчезает ощущение достоверности, несмотря на спонтанность и непринужденность языка, обилие сюжетов, «случайных» персонажей и парадоксальных сентенций.

До нас дошли дневники Л.В. Шапориной, освещающие наиболее драматические события российской истории XX в.: революцию 1917 г., репрессии начала 1930-х гг. и 1937 г., блокаду Ленинграда, «оттепель». Едва ли это случайно. Позднейшая компоновка Шапориной текстов, которую невозможно отрицать, вероятно, создавалась и с оглядкой на историографические каноны, – но важнее другое. Внутри дневниковых пластов отбора тематических узлов нет. Рассказ становится похожим на поток сознания, и взгляд читателя порой не успевает следить за мельканием эпизодов и событий, описанных мимоходом, кратко и небрежно. Дневник Шапориной – это, скорее, записная книжка, в которой соединено политическое и бытовое, важное и второстепенное, без какого-либо их разделения и иерархии, но с характерными перебивками авторского почерка: риторические пассажи присущи преимущественно политическим вкраплениям. Возможно, какие-то эпизоды нарочито оттенены позднейшими изъятиями из текста целых страниц. Их логику (и в этом можно согласиться с комментатором книги В.Н. Сажиным) иногда понять крайне трудно: резкие негативные политические и личностные оценки удалены не были.

Скажу прямо, мне редко приходилось читать какой-либо дневник 1920–1940-х гг., содержащий столь частые и незакамуфлированные политические выпады. Исключение, может быть, составляет дневник А.Г. Манькова, но здесь всё-таки чувствуется бóльшая сдержанность в оценках. Удивительно, что всё это пишет человек, вербовавшийся сотрудниками НКВД и вынужденный встречаться с ними – одно это должно было побуждать к большей осторожности. Никаких доносов она не сочиняла и никуда не «сигнализировала», но, кто знает, может быть, ощущение «вины» и жгучая потребность оправдаться побуждала её хотя бы в записях для себя (а возможно, и для потомков) отстраняться от власти каскадом предельно оскорбительных формулировок. Заметим, что публичных выпадов она почти не допускала. Знакомясь с её политическими филиппиками, нередко обращаешь внимание на их безапелляционность, краткость и риторичность. В дальнейшем эти особенности её стиля «обличений» проявляются ещё ярче, чаще всего во времена хрущёвской «оттепели» – возможно, отчасти и вследствие определённой свободы общественных порицаний. Заниматься пространными историософскими рассуждениями и понимать «чужую правду» она

²⁵ Использую образ М.М. Пришвина, сравнившего ведение дневника с подвигом телеграфиста, утонувшего на «Лузитании»: «Он, погибая, до последнего вздоха подавал сигналы о спасении гибнущих людей» (*Пришвин М.М. Дневники, 1938–1939. СПб., 2010. С. 415. Запись от 6 сентября 1939 г.*).